



*Дом моих
грез*

Марина Ирхина

Марина Ирхина

Дом моих грез

«Автор»

2026

Ирхина М.

Дом моих грез / М. Ирхина — «Автор», 2026

У Николь есть всё: любящий муж, двое детей, дом с бассейном, престижная работа, ежегодные путешествия. Со стороны — идеальная жизнь. Но внутри — пустота, которую она не может объяснить. Каждую ночь она проваливается в сны, где её ждёт Он — красивый, холодный, недоступный. Отношения с Ним полны страсти, боли и унижений, но именно там она чувствует себя живой. Николь не понимает, где реальность, а где иллюзия. Она ищет любовь в призрачном мужчине, не замечая, что настоящая любовь ждёт её дома. Потеря себя, синдром спасателя, токсичная привязанность — и путь к исцелению через боль, осознание и принятие. «Дом моих грез» — это история о женщине, которая решилась заглянуть в собственную душу. О том, как трудно уйти от того, кого на самом деле нет. И о том, что счастье не в другом человеке — оно внутри.

© Ирхина М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Марина Ирхина

Дом моих грез

Глава

Пролог

— Ты сегодня молчала за ужином, — говорит Он. В его голосе нет беспокойства. Только лёгкое раздражение, как если бы она пролила вино на скатерть. — Я не люблю, когда ты уходишь в себя. Мне некомфортно.

Николь стоит у огромного окна. За стеклом — ночной город, огни тянутся до горизонта, как рассыпанные бриллианты. Она в красивом платье, которого у неё нет в шкафу — или есть? Она не помнит. Волосы распущены, в руке бокал с красным сухим, кьянти, Италия, ее любимое вино. Идеальный кадр. Она чувствует его дыхание на шее — холодное, несмотря на тепло комнаты. Его руки ложатся на талию, но не ласково, а так, будто он примеряет, как удобнее держать трофей.

Она хочет ответить: «Я просто устала». Но слова застревают. Потому что она уже знает любой сценарий. «Устала» — он скажет, что у неё нет права уставать, он работает больше. Промолчит — обидится на молчание. Улыбнётся — обвинит в неискренности. Как избавиться от потока мыслей?

«Сегодня моя душа умрёт, когда я закрою за собой дверь», — проносится в голове. Но какую дверь? Выход из этой комнаты? Или из этого вечера?

— Прости, — тихо говорит она. — Ты прав. Я просто задумалась.

Он убирает руки. Отходит к бару, наливает виски. Не глядя на неё, бросает:

— Знаешь, в чём твоя проблема? Ты не умеешь быть счастливой. У тебя есть всё, а ты вечно чем-то недовольна. Это утомляет.

Николь сжимает бокал. Внутри поднимается волна — не гнева, а тошнотворной пустоты. Она хочет закричать: «Я не недовольна! Я потеряла себя. Спроси меня, что болит. Хотя бы раз поинтересуйся тем, что важно для меня. Хоть раз скажи, как я важна для тебя!». Но вместо этого делает глоток вина и чувствует, как оно смешивается со слезами, которые она не позволяет себе пролить.

Он допивает виски, подходит, берёт её за подбородок, заставляя смотреть в глаза. Его взгляд — как лезвие. Красивый. Острый. Беспощадный.

— Но ты мне всё равно нужна, — говорит Он, и это звучит как пощёчина, замаскированная под ласку. — Кто ещё будет так тебя терпеть?

«Потому что если боишься что-то потерять, потеряй и больше не бойся», — проносится в голове Николь, но она не понимает, откуда эта мысль. Дверь в её настоящую жизнь пока ещё закрыта, а ключ от неё зарыт глубоко внутри, под слоями старых обид и чужих ожиданий.

Глава 1

Будильник ворвался в тишину спальни резким джазовым аккордом, и Николь, даже не открывая глаз, уже знала, что это 6:30, что за окном ноябрьское утро с серым небом и что Марк, как всегда, стоит под душем и слушает свой бесконечный подкаст про инвестиции, который она ненавидит так же сильно, как и этот проклятый джаз, потому что оба напоминали ей о том, что жизнь течёт по расписанию, а она — всего лишь пассажир в этом поезде, который давно потерял управление. Она нашарила рукой телефон на тумбочке, нажала «отбой» и на мгновение задержала ладонь на тёплом экране, чувствуя, как внутри, где-то в районе грудной клетки, начинают закипать знакомые тревожные мысли — те самые, что крутились всю ночь,

пока она лежала без сна, слушая ровное дыхание Марка и думая о том, что даже в темноте она не может спрятаться от себя.

«Сегодня опять, — подумала она, глядя в потолок, на котором в полумраке проступала едва заметная трещина, похожая на молнию на карте незнакомой страны, в которую она мечтала сбежать. — Сегодня опять надо встать, улыбнуться, накормить детей, отвезти их в школу, поехать на работу, сделать вид, что я счастлива, и продержаться до вечера, чтобы снова лечь и ничего не чувствовать». Она хотела сказать Марку: «Мне плохо, я не хочу вставать, я хочу, чтобы этот день не начинался», — но слова застряли в горле, потому что она уже знала его ответ: «Детка, брось ты эту хандру, давай купим тебе абонемент в спа, сходим куда-нибудь, отдохнём», — и эта забота, такая правильная и такая бесполезная, только подчеркивала пропасть между ними, которую она не знала, как перейти.

— Доброе утро, — раздался из душа его приглушённый голос, и Николь услышала, как он переключил подкаст на что-то про биткойны, и этот звук — мерный, уверенный, деловой — почему-то вызвал в ней не раздражение, а острую тоску по тем временам, когда они могли просто лежать в обнимку по утрам и молчать, и это молчание было полным, а не пустым.

— Доброе, — ответила она в пустоту, и голос её прозвучал хрипло, как у человека, который давно не говорил по-настоящему, а только повторял заученные фразы.

Она встала, и ноги её утонули в мягком ворсе ковра, который Марк выбрал сам, потому что «он такой приятный на ощупь», и Николь тогда согласилась, потому что ей было всё равно, а теперь она ненавидела этот ковер за то, как он безмолвно впитывал её шаги, делая их бесшумными, как у призрака. Она прошла в ванную, включила свет, и зеркало, подсвеченное холодными лампами, отразило женщину, которую она едва узнавала: карие глаза — те самые, которые когда-то называли выразительными, а теперь они выглядели как два потухших уголька, окружённые синими тенями, которые тональный крем уже не мог скрыть, как бы она ни старалась; худенькое тело в шёлковой пижаме от итальянского бренда, подарок Марка на прошлое Рождество, казалось не её, а чьим-то чужим, словно она примеряла чужую жизнь, которая ей не подходила, но которую она почему-то продолжала носить.

Она включила музыку — ту самую песню, которую слушала каждое утро, бесконечный речитатив модного исполнителя о том, что «ничего уже не вернуть», и эти слова влетали в её мысли, как нить в ткань, создавая узор из тоски и безнадёжности, который она носила на себе, не замечая, как он тяжелеет с каждым днём. Она чистила зубы, и щётка двигалась механически, автоматически, потому что тело помнило ритуал, даже когда душа забыла, зачем он нужен. В голове прокручивались планы: в десять — совещание у гендиректора, в двенадцать — обед с Леной, в три — отчёт по кварталу, в шесть — спортзал, и эта череда событий казалась ей бесконечной дорогой, по которой она ехала на автопилоте, не зная, куда свернуть и стоит ли вообще сворачивать, потому что любой поворот ведёт в ту же пустоту.

На кухне уже было шумно — дети галдели, перебивая друг друга, и Николь, войдя в комнату, застыла на мгновение, наблюдая за этой картиной, которая когда-то наполняла её сердце теплом, а теперь вызывала только тупую боль, потому что она чувствовала себя зрителем в собственном доме, а не участником. Анна сидела за столом с телефоном в руках, и её лицо светилось той особенной улыбкой, которая бывает только у влюблённых подростков, и Николь знала, что эта улыбка адресована Кириллу — парню на год старше, отличнику, красавчику, который держал её дочь за руку в торговом центре и смотрел на неё так, будто она — единственная девочка в мире, и Николь завидовала этой улыбке, этой лёгкости, этой вере в то, что любовь может быть простой и безусловной, потому что сама она давно забыла, как это — верить.

— Мам, ты чего застыла? — спросил Максим, двенадцатилетний копия Марка, с набитым ртом и взлохмаченными волосами, и его голос вырвал её из оцепенения, заставив моргнуть и вернуться в реальность. — Ты мне форму погладила? У меня сегодня спарринг, и если я

не приду в нормальной форме, тренер меня убьёт, честное слово, он уже два раза говорил, что мы не в детском саду, а в серьёзном клубе, а я ему говорил, что мама просто иногда забывает, потому что у неё много работы, а он сказал, что это не оправдание, и что я должен сам следить за своими вещами, но ты же знаешь, что я сам всегда всё забываю, так что, мам, пожалуйста, погладь, я очень прошу, я тебе потом всегда буду помогать, честно-честно, даже убираться в своей комнате буду, вот увидишь.

Он тараторил, глотая слова, и Николь почувствовала, как уголки её губ дрогнули в улыбке — впервые за утро, настоящей, без усилия, потому что в этом сыновьем лепете было столько жизни, столько энергии, столько веры в то, что мама может всё, что она на секунду поверила в это сама.

— Сейчас, сынок, — сказала она, подходя к шкафу, где висела его спортивная форма, и, взяв её в руки, вдохнула знакомый запах — синтетика, смешанная с утюгом и чем-то ещё, что невозможно описать, но что называется «домом», и этот запах, такой простой и такой родной, вдруг обжёт её грудь, напоминая о том, что у неё есть дети, у неё есть семья, у неё есть всё, что она когда-то хотела, и что эта тоска, эта пустота, эта невыносимая тяжесть — не их вина, а её собственная, и от этого становилось только больнее.

Она включила утюг и, пока нагревалась подошва, слушала, как Анна рассказывает Максиму о том, что Кирилл пригласил её на свидание в субботу, и как она не знает, что надеть, потому что у неё есть только одно нормальное платье, а в магазине она видела красивое синее, но оно дорогое, и если мама не даст денег, то она просто умрёт от стыда, когда придет в старом, и Николь слушала этот девичий щебет и чувствовала, как внутри, где-то глубоко, просыпается воспоминание о шестнадцатилетней себе, которая точно так же стояла перед шкафом и выбирала платье для свидания с Сашей, не зная, что через несколько дней её мир разобьётся на тысячу осколков, и что она будет собирать их по кусочкам почти двадцать лет, так и не сумев склеить их в целое.

Шестнадцать. Май. Тёплый, почти летний воздух пахнет сиренью и пылью, и она летит по улице, почти не касаясь асфальта, потому что сегодня она расскажет Саше о своей победе на олимпиаде по математике, и он будет гордиться ею, обнимет, поцелует, скажет, что она — самая умная девочка в мире, а потом они пойдут в кафе, и она закажет свой любимый клубничный лимонад, и они будут строить планы на лето, на универ, на всю жизнь, которая казалась такой бесконечной и такой яркой, что невозможно было представить, что она когда-нибудь померкнет. Она сворачивает за угол, и сердце её бьётся быстро-быстро от предвкушения, и она уже видит его подъезд, и вот он стоит на пороге, и она хочет крикнуть его имя, но слова застревают в горле, потому что рядом с ним — другая, красивая блондинка с кукольными чертами, и он целует её, а она улыбается поверх его плеча, не виновато, с вызовом, и этот вызов — словно пощёчина, которая обжигает всё внутри, и рюкзак с учебниками падает на асфальт, и тишина подкатывает к горлу, и мир распадается на куски, которые она будет собирать много лет, каждый раз натываясь на острые края.

— Мам, — голос Максима вырвал её из прошлого, и Николь моргнула, увидев перед собой не ту улицу с сиренью, а свою кухню, и утюг в руке, и сына, который смотрел на неё с тревогой, — ты опять застыла. С тобой всё нормально?

— Да, всё хорошо, — ответила она, стараясь, чтобы голос звучал ровно, и провела утюгом по форме, разглаживая складки, которые, как ей казалось, отражали складки в её душе. — Просто задумалась. Всё будет готово через минуту.

Максим с облегчением выдохнул и снова уткнулся в тарелку, а Анна, взглянув на мать с той пронизательностью, которая пугала Николь своей точностью, тихо сказала:

— Ты сегодня какая-то уставшая, мам. Может, тебе выходной взять?

— Не могу, — Николь выдавила улыбку, которая должна была выглядеть ободряющей, но, судя по лицу Анны, выглядела как маска, которую она забыла снять. — Работа не ждёт.

— Работа подождёт, — возразила Анна, и в её голосе послышалась та самая взрослая нотка, которая появлялась у неё в самые неожиданные моменты, заставляя Николь чувствовать себя не матерью, а ребёнком, который не понимает очевидных вещей. — Ты всегда говоришь, что у тебя нет времени, а когда оно у тебя будет? Когда мы вырастем и уедем?

Эти слова ударили сильнее, чем Николь ожидала, и она опустила глаза, чтобы скрыть влажность, которая вдруг появилась в них, — потому что она знала, что Анна права, что она тратит свою жизнь на то, чтобы заполнить каждую минуту делами, лишь бы не оставаться наедине с той пустотой, которая ждала её в тишине, в темноте, в тех коротких мгновениях, когда она могла бы просто быть, а не делать.

— Когда я выйду на пенсию, — пошутила она, но шутка прозвучала горько, и Анна, кажется, это заметила, потому что нахмурилась, но ничего не сказала.

В этот момент из спальни вышел Марк, свежий, пахнущий гелем для душа с ароматом перца и ветивера, который он выбрал сам, потому что «этот запах нравится женщинам», и Николь тогда промолчала, хотя ей больше нравился запах простого мыла, того самого, с которым он ходил в первые годы их брака, когда они ещё не выбирали ароматы для других, а просто были вместе. Он подошёл к ней, машинально поцеловал в макушку, и этот поцелуй был таким же привычным, как звук джаза по утрам, — действие, которое он делал, потому что «так надо», а не потому, что ему этого хотелось.

— Ты сегодня какая-то уставшая, — сказал он, отступая на шаг и оглядывая её с той заботой, которая была скорее оценкой состояния, чем искренним участием. — Опять приснился плохой сон?

— Да, — соврала она, и улыбка, которую она выдавила, была настолько отрепетированной, что Марк даже не заметил фальши, или заметил, но предпочёл не заострять на этом внимание, потому что ему было проще поверить в «плохой сон», чем задать следующий вопрос: «Что именно тебе снится, Николь?».

— Слушай, — переключился он на привычную волну, и его голос стал деловым, энергичным, таким, каким он был на встречах, где решались судьбы контрактов и бюджетов, — я вчера смотрел гриль на сайте, тот старый почти прогорел, я думал, может, в выходные заедем в этот магазин за городом, выберем новый, и тогда на следующих выходных можно будет шашлык сделать, дети давно просили, ты как?

— Да, конечно, — ответила она, даже не вникая в детали, потому что это было проще, чем сказать: «Мне всё равно, какой у нас гриль, я просто хочу, чтобы кто-то спросил меня, как я себя чувствую, и не предложил мне абонемент в спа, а просто посмотрел на меня и понял, что я разваливаюсь на части». Она провожала Марка до двери, как всегда — поцелуй в щёку, ключи на тумбочке, хлопок двери, — и этот ритуал, который она когда-то любила за его предсказуемость, теперь казался ей траурной церемонией, на которой она хоронила что-то важное, но не могла понять, что именно.

И когда дверь за ним закрылась, Николь на мгновение задержалась в прихожей, слушая, как его шаги стихают в лифте, и внутри неё, где-то глубоко, пронеслась мысль, которую она не решалась произнести вслух: «Нет такого человека, который не умеет любить, только любовь у каждого своя и именно к своему человеку». Может, Марк — её человек? Может, её любовь — это тишина и шум душа по утрам? Почему же тогда уже как год хочется выть, почему эта тишина не успокаивает, а душит?

— Мам, — сказала Анна, уже стоя в прихожей с рюкзаком за плечом, — сегодня я могу остаться после уроков? Мы с Кириллом хотели в кафе, ну, просто чай попить, ничего такого, я сразу приду, честно, ты не волнуйся.

— До восьми, — ответила Николь, и голос её прозвучал строже, чем она хотела, потому что в этой просьбе она услышала отголосок собственного прошлого, когда она тоже просила маму разрешить ей задержаться, и мама разрешала, и это разрешение стало началом конца,

хотя тогда никто этого не знал. И снова, как эхо, в голове всплыло: *«Если от близкого человека можно отказаться в одночасье из-за мелкой ссоры — это обман, то и не было чувств и отношений»*. Но тогда не было мелкой ссоры. Был поцелуй с блондинкой. И рана не зажила до сих пор, хотя прошло уже столько лет.

— Хорошо, — Анна чмокнула её в щёку и выбежала за дверь, оставив после себя шлейф ванильных духов и молодости, которой Николь завидовала с той безнадежной тоской, с которой завидовала всему, что было живым и настоящим.

Она осталась одна в доме, где, казалось, всё ещё звучали голоса детей и мужа, но этот звук был эхом прошлого, а не звуком настоящего. Она оделась, взяла ключи от машины и вышла, и холодный ноябрьский ветер ударил в лицо, заставляя её зажмуриться на мгновение — не от холода, а от того, что этот ветер пах свободой, той свободой, которой у неё не было.

В машине она включила двигатель, и из колонок снова зазвучала та же песня — бесконечный речитатив о том, что ничего уже не вернуть, — и Николь поехала в офис, не думая о дороге, потому что дорога была такой же привычной, как её собственные мысли, которые кружились по замкнутому кругу, возвращаясь к одному и тому же вопросу: *«Куда я бегу и зачем?»*. Ответа не было, и она знала, что его не будет, но продолжала бежать, потому что остановка означала бы встречу с той пустотой, которая ждала её в тишине, и эта встреча была страшнее любой неизвестности.

Она подъехала к офису, и здание встретило её стеклом и бетоном, фикусами в кадках, которые стояли на своих местах уже десять лет, и она знала каждую трещину на тротуаре, каждую скрипучую дверь, каждого человека, который здоровался с ней с той профессиональной вежливостью, за которой не было ни тепла, ни интереса. Она поднялась на свой этаж и, вместо того чтобы зайти в кабинет с панорамным окном, села в общую зону, потому что не хотела быть одна, но и быть с кем-то — тоже не хотела, и это противоречие, которое мучило её последние месяцы, было её вторым «я», которое она не знала, как примирить с первым.

— Николь, — услышала она голос Лены, которая уже стояла у кофемашины с чашкой зелёного чая в руке и смотрела на неё с лёгкой тревогой, которая была её профессиональной привычкой, — у тебя глаза как у больной кошки. Опять не спала?

— Нормально, — ответила Николь, садясь за стол, который был её рабочим местом, и чувствуя, как усталость наваливается на плечи тяжёлым грузом, который она уже не знала, как сбросить. — Просто устала. Ничего страшного.

— Так, — Лена подошла ближе и села напротив, отпивая из чашки, и её взгляд был таким же острым, как запах зелёного чая, который она всегда заваривала по утрам, — я тебе не верю, но я знаю, что если я начну задавать вопросы, ты просто скажешь «всё хорошо» и уйдёшь в свой кабинет, и я ничего не узнаю. Поэтому я просто скажу тебе: я здесь. Если захочешь поговорить — я рядом.

Николь посмотрела на неё, и внутри неё что-то дрогнуло — не надежда, нет, скорее усталое признание того, что она не одна, но эта компания была ей в тягость, потому что если бы она была одна, ей не нужно было бы притворяться, а если она была с кем-то, ей приходилось надевать маску, и эта маска становилась всё тяжелее.

— Спасибо, — сказала она, и эти слова были искренними, хотя и не могли передать всей глубины её благодарности, потому что благодарность была слишком маленькой для той пустоты, которую она чувствовала. — Правда, спасибо.

Они пошли на совещание, и на экране Zoom замелькали лица коллег из других городов, и Николь смотрела на говорящего начальника, но видела не его, а того, из сна, который стоял у окна и говорил: *«Ты не умеешь быть счастливой»*, и этот голос был таким же реальным, как голос начальника, который спрашивал: *«Николь, ты с нами?»*, и она моргала и отвечала: *«Да, простите, повторите сроки»*, и этот двойной мир — мир снов и мир реальности — смешивался в её голове, и она не знала, где кончается один и начинается другой, и, возможно, этот вопрос

был не так важен, как ей казалось, потому что в обоих мирах она чувствовала себя одинаково потерянной.

После совещания Лена подошла к ней и, взяв её за руку, сказала:

— Я не знаю, что у тебя происходит, но я знаю одно: ты — не ты. Ты та, кого я знаю уже два года, и я вижу, что ты уходишь. Если тебе что-то нужно, ты знаешь мой номер.

Николь кивнула, и внутри неё, в том месте, где жила надежда, появился маленький огонёк, который она боялась разжечь, потому что он мог снова погаснуть, как это было уже много раз, но она решила, что сегодня вечером, когда она вернётся домой, она напишет в блокноте одну фразу, которая пришла ей в голову в эту секунду: «Я не хочу бояться тебя потерять, потому что если всего бояться, то когда жить?».

И эта фраза, такая простая и такая сложная, стала для неё символом надежды, которая, возможно, была ложной, но без которой жизнь была совсем невыносимой.

Она протянула день, как всегда — отчёты, планёрки, переговоры, кофе, который остыл раньше, чем она успела его выпить, и мысли, которые кружились вокруг одной и той же темы, — и к вечеру, когда она вышла из офиса, небо уже было чёрным, и фонари горели тёплым жёлтым светом, и этот свет, такой привычный и такой равнодушный, показался ей единственным, что оставалось настоящим в её жизни.

Она села в машину, включила ту же песню и поехала домой, и этот день, который начался с вопроса «зачем?», заканчивался тем же вопросом, и Николь знала, что завтра он повторится, и послезавтра, и через год, если она не найдёт ответ, или не перестанет искать, или не поймёт, что ответ — это не то, что можно найти, а то, что можно создать, и что создание этого ответа начинается с малого: с улыбки сыну, с разговора с дочерью, с тишины, в которой можно услышать себя.

Она заехала в спортзал, но не нашла в себе сил даже на беговую дорожку, просто постояла в раздевалке, глядя на своё отражение в зеркале, и поняла, что устала не только телом, но и душой, и что эта усталость не пройдёт от одного сеанса фитнеса, потому что она глубже, чем мышцы, — она в самом центре, там, где раньше было что-то живое.

Домой она вернулась в восемь. Дети уже поужинали, Марк заказал роллы с доставкой, и они сидели в гостиной — Максим в наушниках, с головой погружённый в игру, Анна с телефоном, улыбающаяся сообщениям Кирилла, и Марк с ноутбуком, проверяющий почту, — и эта идиллическая картина, которую она когда-то рисовала в мечтах, теперь казалась ей декорацией, за которой ничего не было, кроме пустоты.

— Как день? — спросил Марк, не отрываясь от экрана, и его голос был таким же привычным, как звук джаза по утрам.

— Нормально, — ответила она, садясь на диван и беря кота на колени, чтобы чувствовать хотя бы это живое тепло, которое не требовало от неё слов. — У Макса завтра соревнования. Ты приедешь?

— Конечно, — он поднял глаза на мгновение и снова уткнулся в экран, и Николь знала, что он приедет, потому что он всегда приезжал, даже когда уставал, даже когда не хотел, потому что он был хорошим отцом, и это был ещё один пункт в длинном списке того, что она принимала как должное и за что никогда не благодарила, потому что благодарность требовала бы признания того, что она не заслужила его любви, а она не хотела признавать это.

— Начало в девять, — сказала она. — Поедем вместе, я отпрашилась с работы.

— Договорились, — он снова улыбнулся, и эта улыбка была тёплой, но далёкой, как свет маяка, который виден, но до которого никогда не доплыть.

В десять она пошла в душ и долго стояла под горячей водой, глядя на кафель, на котором виднелась трещина, похожая на ту, что на потолке, и ей казалось, что эти трещины — символы её жизни, которая трескается и рассыпается, а она стоит и смотрит, не зная, как остановить этот процесс. Она выключила воду, натерла тело кремом, который пах её запахом, и ей показалось,

что она слышит его голос: «Я схожу с ума от твоего запаха», — но это был всего лишь голос из сна, который она сама придумала, и эта мысль была такой же пустой, как и его обещания.

Она надела пижаму, села на край кровати, и Марк, отложив книгу про лидерство, посмотрел на неё с той лёгкой тревогой, которая была его способом заботы.

— Ты какая-то сама не своя, — сказал он, и в его голосе прозвучало что-то большее, чем просто констатация факта, — может, съездим в выходные в наш любимый ресторан? Закажем тот твой любимый десерт, ты же его любишь.

— Да, давай, — ответила она, и, наклонившись, поцеловала его в щёку, чувствуя колючую щетину и его тепло, которое она так долго не замечала, и это тепло, такое простое и такое настоящее, вдруг обожгло её, напомнив о том, что она теряет что-то важное, но не знает, как это вернуть.

Он выключил свет, и через пять минут уже посапывал, а она лежала с открытыми глазами, глядя в темноту, и думала о том, что Марк признавался ей в любви на четвёртом свидании, под дождём, с букетом пионов, и она тогда плакала от счастья, потому что верила, что эта любовь будет вечной, а теперь она не знает, где те слёзы и где та вера, потому что они исчезли вместе с её молодостью, оставив после себя только пустоту и вопросы, на которые нет ответов. *«Для того, чтобы признаться в любви, нужно быть эмоционально зрелым и крайне смелым человеком»*, — пронеслось в голове, и она подумала, что Марк был таким — смелым, а она? Она боялась признаться даже себе, что разлюбила его или что никогда не умела любить настоящего, потому что всё это время ждала любви от того, кто не мог её дать.

Она взяла телефон, надела наушники, включила ту же песню и закрыла глаза, и, когда сознание начало уплывать в темноту, она прошептала в пустоту: *«Куда бы ты не бежал — ты всё равно придешь к себе»*, — но не знала, к какой себе она придёт, если вообще дойдёт до конца этого пути.

И провалилась.

Глава 2

Солнце ударило в лицо так неожиданно и так ярко, что Николь, открыв глаза, сначала не поняла, где находится, потому что свет, который лился из французского окна, был не тем серым ноябрьским светом, к которому она привыкла за последние месяцы, а каким-то другим — густым, золотистым, почти осязаемым, как мёд, который тает на языке, и она моргнула, и снова моргнула, пытаясь собрать разбегающиеся мысли, которые отказывались подчиняться логике. Потолок был белым, высоким, с лепниной, и этот потолок был не её, потому что в её спальне были белые натяжные потолки без всяких украшений, которые она выбрала сама, потому что «так проще убираться», и эта мысль, такая бытовая и такая нелепая в этом контексте, заставила её сесть в постели и оглядеться.

Номер был светлым, средиземноморским — стены, выбеленные до ослепительной белизны, терракотовый пол, на котором лежал тонкий ковёр с геометрическим узором, и этот узор был таким тёплым, таким уютным, что Николь захотелось встать и пройти по нему босиком, чтобы почувствовать, как он массирует ступни, и это желание было таким простым и таким естественным, что она удивилась ему, потому что она давно не хотела простых вещей, она хотела только одного — чтобы всё закончилось, или чтобы всё началось заново, и она не знала, чего хотела больше. Рядом с кроватью стояла ваза с олеандром, и его белые цветы пахли так сладко, что у неё закружилась голова, и она прикоснулась к одному из них, и лепестки были мягкими, как бархат, и этот запах, такой лёгкий и такой пьянящий, был запахом счастья, которого у неё не было.

На прикроватном столике лежала записка, сложенная пополам, и Николь, протянув руку, взяла её, и её пальцы дрожали — не от холода, а от предчувствия, от того, что она знала, кто написал эти слова, и от того, что она боялась прочитать их, но в то же время жаждала этого,

как жаждала воздуха после долгого ныряния под воду. Она развернула листок и прочитала: «Спускайся на завтрак. Терраса. Жду 15 минут. Опоздаешь — закажу чёрный кофе, ты же его не любишь». Почерк был твёрдым, чуть наклонным, и в нём чувствовалась уверенность человека, который привык, чтобы его слушались, и это сочетание угрозы и заботы — он знал, что она не любит чёрный кофе, и использовал это знание как оружие, — было настолько характерным для него, что Николь почувствовала, как внутри неё что-то ёкнуло, и она не могла понять, было ли это страхом или предвкушением, или, возможно, тем и другим одновременно, потому что он всегда вызывал в ней этот коктейль чувств, который она ненавидела и которым жила.

Она встала, и на ней была лёгкая хлопковая ночная рубашка, которую она не помнила, как надела, и это было ещё одной странностью, которую она не могла объяснить, но решила не заикливаться на ней, потому что, когда она была с ним, логика теряла свою власть, и она позволяла себе плыть по течению, даже когда знала, что это течение ведёт её к водопаду. Она подошла к окну, отодвинула штору, и мир, который открылся перед ней, заставил её забыть, как дышать, потому что внизу, насколько хватало глаз, простиралось море — такое синее, такое глубокое, что казалось, будто оно не вода, а кусок неба, который упал на землю и застыл в ожидании, и этот цвет — индиго, смешанный с бирюзой, — был настолько совершенным, что Николь не могла отвести взгляд, и она стояла у окна, чувствуя, как солнце греет её лицо, и ветер, приносящий запах соли и жасмина, ласкает её волосы, и в этот момент, в этом идеальном моменте, она забыла о своей пустоте, потому что она была заполнена этим миром, этим светом, этим воздухом, который пах свободой.

Она повернулась и, подойдя к открытому чемодану, который стоял на подставке, увидела, что вещи аккуратно разложены, и это было ещё одним напоминанием о нём — о его педантичности, о его любви к порядку, которая была такой же совершенной, как и всё остальное, что он делал, и она выбрала лёгкое хлопковое платье, которое было таким же белым, как стены номера, и сандалии на плоской подошве, потому что сегодня она хотела чувствовать землю под ногами, даже если эта земля была всего лишь сном.

Она спустилась по мраморной лестнице, и каждая ступенька была прохладной под её босыми ногами, и этот холод, такой приятный и такой контрастирующий с утренним теплом, который лился из открытых окон, был похож на его прикосновения — всегда неожиданный, всегда заставляющий её вздрагивать, даже когда она ждала его. На террасе отеля стояли столики с белыми скатертями, и цветущий бугенвиллея, свисавший с перил, был таким ярким, таким фиолетовым, что казался искусственным, и Николь остановилась на мгновение, чтобы вдохнуть этот запах цветов, смешанный с запахом кофе и моря, и этот момент — момент, когда она ещё не видела его, но знала, что он здесь, — был самым чистым из всех, потому что в нём не было ни слов, ни игр, ни боли.

Он сидел за дальним столиком, как всегда, у края террасы, откуда открывался лучший вид на море, — и его поза, его профиль, его рука, которая держала чашку чёрного кофе, были такими же знакомыми, как её собственное отражение, и Николь почувствовала, как сердце её пропустило удар, а потом забило быстрее, потому что даже после всех разочарований, после всех обещаний, которые он не сдержал, после всех унижений, которые он ей причинил, она всё ещё реагировала на его присутствие так, как реагировала в первый раз, когда они встретились в её снах, и эта реакция была слабостью, которую она ненавидела, но не могла контролировать.

— Ты опоздала на три минуты, — сказал он, не оборачиваясь, но его голос, такой ровный и такой уверенный, был слышен даже над шумом прибоя, и она знала, что он улыбается, хотя она не видела его лица. — Я заказал тебе капучино. И круассан. Садись.

Она подошла, и он поднял глаза, и его взгляд — тёплый, как солнечный свет, но острый, как лезвие, — прошёлся по ней, оценивая, изучая, и она почувствовала себя под микроскопом, но в этом была его сила — он делал её видимой, даже когда она хотела быть невидимой.

— Ты сегодня красивая, — сказал он, откидываясь на спинку стула, и его пальцы — длинные, холёные, с аккуратно подстриженными ногтями — постукивали по чашке, и этот жест был таким знакомым, что Николь почувствовала боль, потому что она знала, что за этим комплиментом стоит не любовь, а собственничество, не желание видеть её счастливой, а желание отметить её как свою вещь. — Я люблю, когда ты не накрашена.

— Ты всегда говоришь это, когда я не накрашена, — ответила она, садясь напротив, и её голос был ровным, даже удивительно ровным, как будто она репетировала этот ответ сотни раз, пока стояла под душем или ехала в пробке, и этот ответ был её маленькой победой, её способом показать, что она не слепа, что она видит его игру, но не хочет в неё играть.

— Потому что это правда, — он улыбнулся, и его улыбка была той же, что и в прологе — снисходительная, чуть насмешливая, та, которую она раньше принимала за загадочность, а теперь видела в ней только пустоту, которая была его истинной сущностью. — Ты красивая, когда ты не пытаешься быть кем-то другим. Но это требует смелости — быть собой. Ты готова к этому?

— Я учусь, — ответила она, и в этом ответе было больше правды, чем в его комплиментах, потому что она действительно училась — училась видеть его настоящим, училась не верить его словам, училась оставаться собой, даже когда он пытался её сломать.

Он заказал ей капучино, и официант принёс его в белой чашке с золотым ободком, и пена была такой густой и такой нежной, что Николь почти не хотела её пить, потому что это казалось кощунством — разрушать такую красоту, и она смотрела, как его пальцы обхватывают его чашку, и думала о том, как много она знает о нём, и как мало это знание значит, потому что оно не помогает ей понять, что он чувствует, если он вообще что-то чувствует. *«Я разглядываю тебя, потому что боюсь забыть каждую черту, — мелькнуло в её голове. — Потому что ты мне снишься, а я тебе — нет».*

После завтрака они пошли к морю, и отель стоял на скале, и к пляжу вёл старый лифт, скрипучий и медленный, который спускался между камней, и Николь стояла рядом с ним, чувствуя его дыхание на своей шее, и её тело откликалось на это дыхание, хотя разум кричал, что это ловушка, что он не изменится, что она снова попадётся на крючок, если позволит себе расслабиться, но его рука на её талии была такой тёплой, а его голос, когда он говорил: «Медленная, не умеешь отдыхать даже здесь», — был таким мягким, что она почти забыла о своих сомнениях и позволила себе улыбнуться, улыбнуться той улыбкой, которая была искренней, даже когда она знала, что это — ошибка.

Вода была прохладной, и он плавал брассом, быстро, далеко, и она оставалась у берега, глядя на него, и в этом была их динамика — он всегда уходил вперёд, оставляя её позади, и она всегда догоняла его, и это было метафорой всего, что происходило между ними.

— Плыви сюда! — крикнул он, и его голос был таким же уверенным, как его почерк, и она поплыла, но вода была холодной, и дыхание перехватывало, и она смеялась, потому что это было смешно — плыть за ним, когда она даже не знала, куда они плывут, и когда она добралась до него, он подхватил её под локоть, и его прикосновение было таким же уверенным, как всё, что он делал, и она поняла, что это и есть их отношения — погоня, которая никогда не заканчивается, и финиш, который всегда ускользает.

— Ты медленная, — сказал он, и его голос был мягким, почти ласковым, но в этом «почти» была та самая дистанция, которую она никогда не могла преодолеть, потому что он не позволял ей приблизиться.

— Я просто отдыхаю, — ответила она, и её голос дрожал от холода, и он притянул её ближе, и она почувствовала тепло его тела, но это тепло было обманчивым, потому что оно не согревало душу, а только тело, и она знала это, но позволяла себе обманываться, потому что обман был лучше правды.

После купания они пошли в ресторан на берегу, где столики стояли прямо на гальке, и море было так близко, что волны почти касались их ног, и он заказал пасту с морепродуктами и белое вино, и они пили, глядя на воду, и он рассказывал о работе, о своих планах, о том, как он хочет изменить мир, и она слушала его голос, его тембр, его жесты, и думала о том, что он никогда не спрашивает её о её планах, о её мечтах, о её страхах, потому что его мир вращается вокруг него, и она в этом мире — всего лишь декорация, красивая и удобная, но не важная.

— Почему ты так смотришь на меня? — спросил он вдруг, и его взгляд был таким же острым, как всегда, и она не отвела глаз, потому что ей было важно, чтобы он знал, что она видит его настоящим, даже когда он пытается казаться другим.

— Просто люблю, — ответила она, и это было правдой, но правдой, которая ранила её саму, потому что она действительно любовалась им, даже когда знала, что он не стоит этого.

— Ты странная, — сказал он, усмехаясь, и его усмешка была такой же холодной, как океанская вода, и она почувствовала этот холод внутри себя, но не показала этого, потому что она научилась не показывать боли, даже когда боль разрывала её на части. — Меня никто не разглядывает. Обычно я разглядываю.

— Может, тебе стоит попробовать поменяться ролями, — ответила она, и в её голосе прозвучала та самая горечь, которую она так долго прятала, и он услышал её, но проигнорировал, потому что ему было удобнее не замечать её чувств.

Они пошли на прогулку по узким улочкам Таормины, и лимонные деревья росли вдоль домов, и воздух был таким густым, что его можно было резать ножом, и его рука, которая держала её руку, была такой же тёплой, как солнечный свет, но она не сжимала её, а просто держала, как держат сумочку — легко, небрежно, готовые выпустить в любой момент, и это чувство — быть на время — было самым болезненным из всех, потому что она хотела быть навсегда, но он не хотел этого, и она знала это, и всё равно шла рядом.

В какой-то момент его взгляд скользнул по девушке за соседним столиком уличного кафе, молодой итальянке с тёмными кудрями, которая улыбнулась ему, и он улыбнулся в ответ, и эта улыбка была такой же свободной, как его пальцы, которые не сжимали её ладонь, и она почувствовала укол ревности, который был глупым, потому что они были во сне, и он был всего лишь её иллюзией, но боль была реальной, и эта реальность была невыносимой.

— Слушай, — сказал он, отворачиваясь от итальянки, — а я тебе рассказывал про свою бывшую? Мы с ней в таком же отеле останавливались два года назад. Она была безумная — ревновала меня к каждому столбу, устроила сцену на пляже, потому что я посмотрел на официантку. Думала, что я изменяю ей с каждой, кого вижу.

Он рассмеялся, легко, как будто это был анекдот, и Николь смотрела на него и думала о том, как много нужно, чтобы так легко говорить о чужой боли, и как мало он понимает о том, что чувствует женщина, которую он делает своей бывшей, и что она сама, возможно, станет этой бывшей, о которой он будет рассказывать следующей, как о забавном случае из жизни. И внутри неё снова всплыла та фраза, которую она знала наизусть, но никак не могла принять: *«Невозможно заставить человека себя любить»*.

— А ты смотрел на официантку? — спросила она, и её голос был спокойным, почти безразличным, хотя внутри она кипела от этой несправедливости, которую он так легко называл «любовью».

— Ну конечно, — он пожал плечами, и этот жест — такой равнодушный и такой привычный — был ответом на все её вопросы, потому что он никогда не считал нужным скрывать свои желания, даже когда они ранили её. — Я всегда смотрю. Но это ничего не значит. Я же с ней был, а не с официанткой.

— Тебе не кажется, что это обидно? — спросила она, и в её голосе прозвучала та самая уязвимость, которую она так долго прятала, и он услышал её, но не понял, потому что он нико-

гда не понимал её боли, и эта неспособность понять была их главной пропастью, которую она не знала, как заполнить.

— Обидно? — он нахмурился, и его глаза стали холодными, как лёд, и она почувствовала, что перешла какую-то невидимую черту, за которой он переставал быть мягким и становился прежним — тем, кто говорил ей «ты не умеешь быть счастливой». — Ты ревнуешь? Ревность — это неуверенность в себе. А мне скучно с неуверенными.

Он пошёл дальше, оставляя её позади, и ей пришлось догонять его, и этот бег за ним был всей её жизнью — бесконечной погоней за любовью, которой не существовало.

Вечером они ужинали на крыше отеля, и закат окрасил небо в розовый, оранжевый и лиловый, и Этна, которая дышала вдалеке, казалась живым существом, и море стало фиолетовым, как чернила, и он заказал шампанское, и они пили за путешествия, за удачу, за то, что они встретились, и она пила и смотрела на его профиль, который был таким красивым, что у неё перехватывало дыхание, но внутри неё, где-то глубоко, она знала, что эта красота — всего лишь оболочка, за которой скрывается пустота, которую она пыталась заполнить собой, но не могла.

— А ты любишь кого-нибудь? — спросила она вдруг, и этот вопрос вырвался из неё, как крик, который она сдерживала слишком долго, и он поднял бровь, и в его глазах мелькнула та самая снисходительность, которая была его главной защитой.

— Я люблю себя, — ответил он, и его голос был таким же ровным, как всегда, и она почувствовала, как внутри неё что-то обрывается, потому что это был тот самый ответ, которого она боялась, и тот самый ответ, который она знала, но не хотела принимать. — А остальное — приложение.

Она замолчала, потому что слова застряли в горле, и она смотрела на море, на волны, которые набегали и уходили, и чувствовала горечь, которая была не от вина, а от того, что счастье — здесь, в этом закате, в этом запахе соли — было настоящим, а он — нет. Она была счастлива *несмотря на него*, и это осознание было таким же болезненным, как и его слова, потому что оно означало, что он не нужен ей для счастья, и она всё равно была здесь, потому что не могла уйти, потому что он был её привычкой, её зависимостью, её самой большой ошибкой, которую она не могла исправить.

— Я хочу вернуться в номер, — сказала она, и в её голосе не было злости, только усталость, которая была глубже, чем море, и он посмотрел на неё с лёгким удивлением, но не стал спорить.

— Как хочешь, — ответил он, откидываясь на стуле, и этот жест — такой равнодушный и такой знакомый — был ответом на всё, что она не сказала, и она пошла к лифту, чувствуя на себе его взгляд, но не оборачиваясь, потому что боялась, что если обернётся, то снова попадёт в его ловушку.

В номере он первым зашёл в душ, и она сидела на кровати, слушая, как он напевает под нос попсовый мотивчик, и хотела плакать, но слёзы не шли, потому что она уже выплакала их все за эти годы, и когда он вышел, влажный, в одном полотенце, она уже лежала под одеялом, отвернувшись к стене, и он лёг рядом, и выключил свет, и в темноте его голос прозвучал тихо, почти нежно:

— Спокойной ночи.

Она молчала, и через несколько минут он уже дышал ровно, а она повернулась и посмотрела на его лицо, беззащитное во сне, и внутри неё, как лезвие, вонзилась мысль, которую она слышала уже много раз, но которая всё ещё резала по живому: *«Страх, липкий, тягучий способен разрушить даже самые лучшие отношения. Но наши отношения — это и есть страх. Страх, что я недостаточно хороша. Страх, что он уйдёт к блондинке. Страх, что я никогда не буду любима так, как хочу»*. Она смотрела на его лицо, такое красивое и такое чужое, и знала, что этот страх — её собственная тюрьма, из которой она не знает, как выйти.

Она закрыла глаза, и море шумело за окном, и этот шум был таким же вечным, как её страх, и она думала о том, что завтра она проснётся в своей постели, и этот сон будет просто сном, но он будет тем, что она будет вспоминать с тоской, потому что в этом сне она хотя бы чувствовала себя живой, даже если эта жизнь была иллюзией.

И когда она снова открыла глаза, она была в своей постели, и рядом посапывал Марк, и будильник ещё не звонил, и на часах было 5:15, и Николь села, чувствуя запах моря на своих волосах, и поняла, что его не было, и он был, и что она не знает, где правда, а где ложь, и что, возможно, эта неопределённость и есть её настоящая жизнь — жизнь на границе двух миров, в которой она ищет себя и не может найти.

Она легла обратно, и в темноте её голос прозвучал тихо, почти шёпотом:

— Я не хочу бояться тебя потерять. Но если я боюсь тебя потерять — значит, я уже потеряла себя. И это самое страшное.

Она закрыла глаза, и джаз в 6:30 вернул её в реальность, и этот звук был таким же болезненным, как его голос, но она знала, что сегодня она снова встанет, и снова пойдёт на кухню, и снова будет делать вид, что она жива, и, возможно, когда-нибудь она перестанет бояться и начнёт жить по-настоящему.

Гл

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.